

КОНЦЕПЦИИ. ПРОГРАММЫ. ГИПОТЕЗЫ

УДК 821.161.1-94
ББК Ш33(2Рос=Рус)6-449

ГСНТИ 17.07.29

Код ВАК 10.01.08

И. Л. Савкина
Финляндия

«Постичь логику бедствий»: тактики и стратегии человеческого и профессионального выживания в годы революционного перелома (по дневникам литераторов)

Аннотация. Рассматривается проблема самоопределения, осмысления собственной позиции и профессиональной идентичности в годы революционного перелома в автодокументальных текстах литераторов. В качестве материала взяты «Дневники» К. Чуковского, «Записные книжки» Л. Гинзбург и «Дневник» Л. Шапориной. Именно дневник является способом соотношения, вписывания себя в историческое время. В центре внимания в статье — стратегии и тактики адаптации литераторов к новой политической и культурной ситуации. Доказывается, что позиции авторов не сводились к дилемме рабского подчинения или героического сопротивления режиму. Эгодокументы (дневники, записные книжки) демонстрируют процесс, динамику выборов в ситуации, когда невозможен один единственный выбор. Чуковский избирает в своем дневнике позицию наблюдателя. Подобно многим другим, ему приходилось «надевать маску», но происходило и незаметное вращение в советскую действительность. Внутренне противоречива позиция Л. Гинзбург: она принимает новую реальность как данность, но видит ненужность прежних писательских установок. Задача литератора в таких условиях — не терять профессионализм. Далее в статье рассмотрен дневник художницы и театрального деятеля Л. Шапориной. Революционный перелом породил у нее ощущение творческого подъема, однако все более явным становится разрушение культуры. Свою миссию Л. Шапориная видит в том, чтобы сохранить преемственность культуры в новой, неблагоприятной ситуации. В статье делается вывод о постепенном дистанцировании избранных авторов от образа «правильного» советского писателя, нарастающие ощущения личной неудачи. Однако именно эти автодокументы наиболее востребованы сегодня.

Ключевые слова: эгодокументы; дневники писателей; авторская позиция; русская литература; русские писатели; литературное творчество; революции.

I. L. Savkina
Finland

«To Understand the Logic of Misfortune»: Tactics and Strategies of Human and Professional Survival in the Years of Revolutionary Change (based on writers' diaries)

Abstract. The article deals with the problem of self-determination and understanding of one's position and professional identity in the years of revolutionary change in auto-documentary texts of writers. The research material includes «Diaries» by K. Chukovsky, «Notebooks» by L. Ginzburg and «The Diary» by L. Shaporina. It is a diary that is a means of correlation, of including oneself in the historical time. The article focuses on the strategies and tactics of the writers' adaptation to the new political and cultural situation. The article argues that the writers' positions were not limited to the dilemma of servile obedience or heroic resistance to the regime. Ego-documents (diaries, notebooks) demonstrate the process and dynamics of choice in the situation when one-and-only choice is impossible. In his diary, K. Chukovsky chooses the role of an observer. Like many other people, he had to “put on a mask”, but hardly perceivable engagement in the Soviet reality also took place. The position of L. Ginzburg is ridden with inner conflict: she accepts new reality as a given fact but realizes the futility of former writer's aims. The writer's task under such conditions is not to lose professionalism. Then the article passes on to the analysis of the diary of a painter and theatrical worker L. Shaporina. The revolutionary overthrow inspired in her a feeling of creative inspiration, but the cultural collapse was becoming more and more evident. L. Shaporina sees her mission in the activity aimed at preservation of cultural succession in a new, unfavorable situation. The article concludes about the gradual distancing of the authors under study from the image a «correct» Soviet writer and about the growing feeling of personal misfortune. Still, it is these ego-documents that are on high demand nowadays.

Keywords: ego-documents; writers' diaries; the author's position; Russian literature; Russian writers; literary creative activity; revolutions.

Введение. В 1979 году в эссе «Поколение на повороте» Лидия Яковлевна Гинзбург, размышляя о собственной судьбе, истории жизни своего поколения и — более широко — о проблеме «интеллигенция и революция», писала:

«Люди меряют свою действительность разными мерами. Мерой абстрактного идеала разумного и справедливого, мерой своих групповых интересов и вожделений, прагматической мерой реальной необходимости и возможности, мерой своих вкусов, культурных и нравственных навыков и пристрастий. На каждом из этих существующих уровней рождаются суждения о действительности. [...] Есть эпохи, когда уровни сближены, уравнове-

шены. Но есть моменты резких исторических разрывов между необходимостью и идеалом, между идеалами и интересами, между прагматикой поведения и нравственными предпочтениями. Люди 20-х годов в стихах и прозе, в дневниках, в письмах наговорили много несогласуемого. Но не ищите здесь непременно ложь, а разгадывайте великую чересполосницу — инстинкта самосохранения и интеллигентских привычек, научно-исторического мышления и страха» [Гинзбург 1999: 418–419].

Эти слова могли бы послужить эпиграфом к данной статье, в которой предполагается рассмотреть, как проблема самоопределения, осмысления и переосмысления собственной позиции и профессио-

нальной идентичности в годы революционного перелома предстает в автодокументальных текстах трех литераторов.

Материалом для анализа являются *Дневники* Корнея Чуковского, *Записные книжки* Лидии Гинзбург и дневниковые записи 1917–1929 гг. из *Дневника* Любови Шапориной. Целью статьи является выявление и сопоставление различных (отрефлексированных и бессознательных) стратегий и тактик адаптации литераторов к новой политической и культурной ситуации через анализ их дневниковых повествовательных практик.

Сравнение трех избранных казусов не предполагает их унификации по какому-то одному основанию, а представляет собой попытку увидеть разнообразные индивидуальные стратегии и тактики профессионального выживания и сохранения, не сводящиеся к выбору между рабским подчинением и героическим сопротивлением.

Обращение к дневникам и записным книжкам, которые мы относим к эгодокументам, близким по жанру к дневнику, позволяют рассмотреть позицию авторов не как однозначный идеологический выбор, сделанный раз и навсегда, а как сложный, противоречивый процесс *выборов*, контекстуально обусловленных и многомотивных, хотя, конечно, дневниковые записи не дают и не могут дать полной картины всего происходящего с автором.

Мы исходим из убеждения, что при всем разнообразии форм и целей дневники¹ в принципе не являются аутентичной, откровенной и абсолютно правдивой хроникой персональной жизни и опыта. Степень правдивости и откровенности дневника — это всегда проблема, требующая специального обсуждения. Кроме того, необходимо помнить, что дневник процессуален, противоречив, нецелостен, люди в своей ежедневной жизни испытывают воздействие тысячи разноплановых факторов одновременно, и далеко не все они зафиксированы в дневнике. И все-таки, изучая эгодокументы, «входишь в поле проблем вклада индивидов в изобретение истории, одновременно пытаясь показать, каким образом история общества вписана в их язык и тело» [Козлова 2005: 28]. Дневник фиксирует эти разнородные практики и одновременно сам по себе является такой практикой «вписывания» в историческое время.

Стать «своим», оставаясь «иным»: казус Корнея Чуковского². Корней Чуковский (наст. имя — Николай Васильевич Корнейчуков, 1882–1969) является, безусловно, интересной и репрезентативной фигурой для подобного анализа, так как

¹ О дневниках как жанре и разнообразии дневниковых практик см., напр. Михеев, Савкина, Nussbaum, Smith. Об особенностях дневников советского времени см. Hellbeck, Rapetto.

² Подробный анализ дневника Чуковского послереволюционных лет содержится в нашей статье: Савкина Ирина «Для таких людей, как он, убеждения не нужны» (левое/правое, идеология и культура в дневниках Корнея Чуковского 1920-х годов) // Вестник Пермского государственного университета. Серия История. 2013. Вып. 2 (22). С. 77–86. В данной главе мы суммарно пересказываем ее содержание для того, чтобы создать фон сопоставления с другими авторами.

он, можно сказать, — «классический» профессиональный литератор. Он был известен как критик еще в начале XX века, трудно входил в новую послереволюционную жизнь, но в конце концов стал уважаемым, статусным и авторитетным советским автором.

Всю свою жизнь Чуковский вел дневник, и дневниковые записи 20-х годов являются, на наш взгляд, прекрасным материалом для анализа того, как позиционировал себя профессиональный литератор, «интеллектуальный пролетарий» [Чуковский 1991: 251], как он сам себя однажды называет, в революционные и послереволюционные годы.

Чуковский в своем дневнике стремится быть не идеологом или аналитиком, а наблюдателем действительности, фиксатором процесса жизни, прежде всего, культурной, литературной. Он пытается описывать события нейтрально, а оценочные суждения «передоверять» другим, записывая чужие мнения. Однако своя позиция у автора дневника все равно существует, и ее можно понять, проанализировав, что именно он выбирает для фиксации и описания и чьи именно мнения он передает, игнорируя иные суждения.

Анализ подобных не прямых выражений идеологической позиции показывает, что Чуковский в первые послереволюционные годы новую, коммунистическую идеологию не принимает и считает ее представителей людьми, которые хотят не разрушать буржуазные устои, а, напротив, оказавшись у власти, попользоваться привилегиями роскошной и сытой (буржуазной) жизни. Но зато, по мысли Чуковского, революционными темпами идет разрушение культуры, традиционного культурного уклада, что приводит к торжеству мелкобуржуазной пошлости или/и хамского невежества.

Однако, критически относясь к новой власти и ее культурной политике, Чуковский не считает себя борцом, человеком политической идеи — для него не характерна позиция активного, готового на любые жертвы борца или диссидента, он стремится к человеческому и культурному самосохранению, и потому во второй половине 20-х годов в дневнике становится заметным стремление искать позитивные моменты, которые могут послужить оправданием действий большевиков.

С нашей точки зрения, речь идет не о жесткой внутренней самоцензуре (или не только о ней), а прежде всего о том, что Чуковский хотел жить и самореализовываться в новых условиях. Он сознательно и/или бессознательно старался вписаться в новое время, и этот процесс в-писывания отражен в дневниках, вернее сказать, ведение дневника и становится одной из форм в-писывания себя в советские формы идеологического, культурного и бытового поведения, что, конечно, не означает абсолютного принятия и одобрения последних. Чуковскому, как и многим другим литераторам в это время, чтобы выжить и жить приходится «надевать маску», играть по предлагаемым правилам, но одновременно происходит и вращание в советскую действительность, усвоение и присвоение ее дискурсивных практик, незаметным для пишущего образом. О подобных механизмах адаптации пишет Йохен

Хеллбек в своей книге о дневниках сталинского периода, показывая, как идеи и формы времени влияют на авторов дневниковых текстов, часто даже неосознанно. Идеологическое напряжение существует не между государством с одной стороны и гражданином с другой но внутри самого гражданина [Hellbeck 2009: 11], и это обнаруживают автотексты, в том числе и дневник К. Чуковского.

Наверное, позицию Чуковского можно назвать конформистской и требовать от него непримиримости и идеологического самоожожения. Но Чуковский, как и многие другие люди, зная, что «времена не выбирают, в них живут и умирают», прошел по жизни срединным путем компромисса. Однако его невозможно обвинить в сервильности, в абсолютном растворении в доминантном дискурсе; в его дневнике всегда есть некое остранение, и отстранение, позиция *иного*. Инаковость базируется на *принадлежности к другой культурной традиции*, которая для Чуковского ассоциируется с Н. Некрасовым, главным героем его литературоведческих штудий, то есть, с традицией русской демократической интеллигенции. Эта инаковость, «отдельность», «чуждость», о которой Чуковский многократно пишет в своем дневнике, заставляет его воспринимать себя как неудачника, как человека, который не может полностью реализоваться, который постоянно занимается не совсем своим делом.

«Оставить голову относительно свободной: казус Лидии Гинзбург. Лидия Яковлевна Гинзбург (1902–1990) была человеком другого поколения, чем Корней Чуковский, и в записных книжках несколько раз упоминает последнего в качестве мэтра. В своей поздней аналитической прозе она, употребляя любимый ей способ мыслить поколениями и делать исторические обобщения и типизации, не раз называет себя человеком «20-х годов». «Записные книжки», которые Гинзбург начинает вести в середине 1920-х годов, вероятно, на волне своего исследовательского интереса к «Записным книжкам» Петра Вяземского, являются ключевым текстом ее творческого наследия. Некоторые исследователи, в частности Андрей Зорин, склонны видеть в них попытку создать роман нового типа [Зорин 2005]. Мы в этой статье рассматриваем записные книжки Гинзбург как своего рода «косвенный» дневник, опираясь на ее собственное аналитическое суждение: «Можно писать о себе прямо: я. Можно писать полукосвенно: подставное лицо. Можно писать совсем косвенно: о других людях и вещах, таких, какими я их вижу. Здесь начинается стихия литературного размышления, монологизированного взгляда на мир [...], по-видимому, наиболее мне близкая» [Гинзбург 1999: 68].

В своих записях Гинзбург соединяет, используя выражение Л. Толстого, «мелочность и генерализацию»: фиксирует словечки, фразы, «мимолетящие слова, случаи, ощущения» [Гинзбург 1999: 34], но одновременно выходит на уровень универсальных обобщений. Однако универсализации — тоже форма разговора о персональном, рассказа о себе и своем опыте.

В записях Л. Гинзбург 1920–1930-х годов почти нет прямых свидетельств о социальных реалиях

текущей жизни, но есть усилия мысли, которая пытается постичь «логику бедствий» [Гинзбург 1999: 102] и обсудить, выработать поведенческую стратегию, которая в новых условиях дает возможность социального выживания. Позже в своем знаменитом эссе «Поколение на повороте» (1979) она анализирует себя как типического представителя молодой интеллигенции 10-х годов, которое вошло в революцию с детским максимализмом, жадной свободой, готовностью к утратам и жертвам и чувством вины перед обездоленным братом. Но то, что представлялось освобождением, расширением, сразу предстало запретом. Одно из первых восприятий — увешанные пулевыми лентами матрасы. Кучками они ходили по городу и входили в любую квартиру, если хотели. Это внушало чувство беспомощности, отчужденности. Индивидуалистический элемент определился резче, сознательнее, непроизвольно встал на свою защиту. Это было не отказом от революции, но черновым наброском судьбы, ею порожденной, диалектически с ней сопряженной [Гинзбург 1999: 415–416].

Для нее и людей, близких ей по духу, которые не хотели ни в комсомол, ни в эмиграцию, чтобы продолжать жить, надо было обрести, как выражается Гинзбург, некую «точку совместимости», то есть найти социально-психологические механизмы адаптации. В своем эссе 1979 года Гинзбург называет три таких механизма: во-первых, признание революции безусловной ценностью, во-вторых, следование инстинкту жизни и потребности в самореализации, которое приводит к оправданию происходящего и к «завороженности», экзальтации. «Третьим из основных механизмов совместимости было чувство конца старого мира» и принятие нового, «ни на что прежнее не похожего» как «непререкаемой данности» [Гинзбург 1999: 418].

Внимательно вчитываясь в записные книжки Гинзбург 20-х — начала 30-х годов, мы можем обнаружить действие всех этих, описанных ею позже механизмов, способов адаптации к предлагаемым условиям и связанных с ними форм трансформации профессиональной идентичности.

Уже в самых первых записях Гинзбург идентифицирует себя как литератора и русского интеллигента (в более конкретной ипостаси — «младоформалиста»). Мир, в котором она живет, который наблюдает и описывает и который для нее наделен абсолютной ценностью, — это мир литературы и науки о литературе, мир слова. Историческая реальность ставит под сомнение безусловность этих ценностей и делает ее, как и ее товарищей по музе и по судьбам, — неостребованными, нереализованными, неудачниками. Современность в них не нуждается, литературная работа как профессия в том смысле, как определяет ее Гинзбург, практически обесценивается.

Записи Гинзбург фиксируют противоречивое ее отношение к этому факту. С одной стороны, для нее психологически чрезвычайно сложно принять эту реальность нового мира, так как это значит признать собственное профессиональное и человеческое ничтожество и бессмысленность собственных интеллектуальных усилий:

«Гофман сказал, что напрасно мы, в сущности, кочевряжимся. Что мы всё не можем расстаться с устаревшей шкалой человеческих ценностей, в которой литературная, словесная, вообще гуманитарная культура стояла очень высоко. В иерархическом же сознании современного человека гуманитарная культура имеет свое место, но очень скромное. Следовательно, нам нужно умерить требования к жизни.

Я ответила, что это, вероятно, правильно, но психологически неосуществимо. Человек устроен так, что может удовлетвориться, считая себя мелкой сошкой, безвестно работающей в какой-то самой важной и нужной области, но он никогда не примирится с положением замечательного деятеля в никому не нужном деле. И это делает честь социальному чутко человека» (1930) [Гинзбург 1999: 110].

С другой стороны, мы видим и попытки рационализировать и отчасти оправдать происходящее, увидев в нем печальную для себя лично, но исторически объяснимую закономерность.

«Нельзя было бесследным для культуры образом подвергнуть первоначальной культурной обработке всю эту массу новых людей. Культура ослабела наверху, потому что массы оттянули к себе ее соки. Я вовсе не думаю, что нужно и социально полезно упрощаться; я думаю, что снижение культурного качества — не вина правительства и не ошибка интеллигенции, что снижение качества на данном отрезке времени — закономерность. В данный момент я и люди, которых я обучаю на рабфаке, любопытным образом уравновешены. То, что они учатся и вообще чувствуют себя полноценными людьми, соотносено с тем, что у меня отнята какая-то часть моей жизненной применимости [...] Никаких чувств, кроме самых добрых, я к ним не испытываю. Во-первых, потому, что у нас у всех неистребимое народничество в крови; во-вторых, потому, что мы жадны на современное; в-третьих, потому, что профессиональная совесть и профессиональная гордость ученого и педагога не терпит нереализованных знаний; в-четвертых, потому, что если пропадать, то лучше пропадать не зря» (1930) [Гинзбург 1999: 114].

Но в конце 20-х годов существо литературного труда переопределяется в публичном пространстве настолько, что Гинзбург не может идентифицировать себя с этой моделью, что очевидно обнаруживает себя в записях начала 1930-х годов, в которых лейтмотивом проходит мысль о потере специальности, о том, что смысл профессии выхолащивается, что происходит «непоправимое перерождение судьбы».

В 1933 году она так описывает этапы переопределения своего представления о существовании специальности литератора и границы возможных компромиссов:

На первой стадии (институтской) была установка на творчество плюс активизация. В высшей степени наивная установка, которая окончательно провалилась около 1928 года.

Вторая стадия характеризуется установкой на работу плюс активизация и деньги (профессионализм). Для меня — и не для меня только — эта установка провалилась в исходе 1932 года¹.

Начинается третья стадия, в которой я усматриваю

¹ Об истории литературных неудач Гинзбург начала 30х годов см. главу «Труд, халтура и первая пятилетка» в книге С. Савицкого [Савицкий 2013: 96-109].

сочетание творчества с халтурой (за халтуру платят). Халтура имеет перед поденной работой то преимущество, что она оставляет голову относительно свободной. Не хочу быть больше животным, которое десять часов в день пишет не очень хорошие книги [Гинзбург 1999: 137].

Постижение «логики бедствий» приводит Лидию Гинзбург к формулировке стратегии профессионального и социального выживания в «предлагаемых обстоятельствах». Суть этой стратегии в том, чтобы не опускать руки и не опускаться, а продолжать интеллектуальную работу, каковы бы ни были внешние обстоятельства. «Не писать для того, чтобы заработать, а зарабатывать для того, чтобы писать» [Гинзбург 1999: 127], жить в нищете, перебиваясь халтурой, но не профанировать литературный труд, не писать дурные книги по правилам, диктуемым текущим моментом, а усилием интеллекта и воли сотворить, «выгородить» для себя время-пространство свободы. Человек за письменным столом в тишине ночи, выключенный из актуального времени-режима, — вот то идеальное Я, с которым идентифицирует себя Гинзбург.

Понять свою культурную миссию: казус Любови Шапориной. Любовь Васильевна Шапорина (1879–1967) — создательница первого в советской России театра марионеток, художница и переводчица. Однако, пожалуй, самым большим ее вкладом в культурную историю являются ее дневники, которые включают записи с 1898 по 1967 год, написанные с потрясающей смелостью или наивностью, прямоотой и откровенностью.

Записи с 1917 по 1929 год, к сожалению, наиболее краткие, с огромными временными лакунами, но все же дают интересный материал в контексте обсуждаемой нами темы.

Л. Шапорина получила образование в Санкт-Петербургском Екатерининском институте, с 1903 года училась некоторое время в рисовальной школе при Академии художеств. Кроме рисования и занятий декоративным искусством, она всю жизнь интенсивно занималась переводом с итальянского, французского и немецкого, а с 1918 по 1924 была художественным руководителем организованного ею Петроградского театра марионеток. Можно сказать, что Шапорина была тем, что принято называть «свободным художником», к ней можно также применить определение С. Савицкого, данное им Л. Я. Гинзбург, «неинституциализированный интеллект».

К моменту начала революции Шапориной было уже 38 лет, но она все еще находилась в поиске своего призвания и дела жизни.

После большой временной паузы (с 1903 года) она возобновляет ведение дневника 1 марта 1917 года, ощущая значительность происходящих событий и долг свидетельствовать. Описывая очень подробно, почти по часам факты и слухи этих дней, автор дневника передает настроение надежды, которое связано с тем, что среди власть имеющих она не видит роялистов, а народ, в частности солдат, предпочитает идеализировать, выбирая такие эпизоды из виденного, где действуют «рослые, красивые солдаты», которые «рассуждают очень разумно» [Шапо-

рина 2012: 57]. «Солдаты сегодня на улицах просто трогательны. Любезны, предупредительны, ни одного пьяного, ни одного погрома» [Шапорина 2012: 58].

Запись от 1 марта 1917 года неожиданно обрывается и продолжается под титлом «21 октября 1949 года», где о событиях и впечатлениях 1917–1918 года говорится уже с мемуарной перспективы. И хотя Шапорина старается детально вспомнить о фактах и чувствах тех лет, ретроспективное знание, конечно, меняет фокус и тон изображения. Акцент делается на мотивах разрушения традиционного уклада жизни, административной неразберихе, некомпетентности новых правителей, голоде, хаосе и т. п. «Надо было строить жизнь заново. Гусевский дом отобран. Ларина (родовая усадьба — И. С.) не существовало. Твердая земля ушла из-под ног. Надо было зарабатывать средства к существованию, надо было что-то делать» [Шапорина 2012: 68].

Дальше следуют записи, где перемежаются ужас и восторг, факты «оголения жизни» и описание немислимого творческого подъема, открывшихся возможностей творческой самореализации. Автор дневника / мемуара чувствует себя нужной, востребованной, реализованной. «Эти первые годы революции были порой энтузиазма, огромного подъема творческой энергии, которая с особой силой проявлялась в театре» [Шапорина 2012: 71]:

«Россия была зажата в кольцо всевозможных интервентов, западных и восточных хищников, шла кровопролитная Гражданская война (удесятеренная Вандея!) голод — получали осмущку хлеба, сыпняк, террор [...]. И вот, несмотря на это, работалось и изобреталось с неиссякаемой энергией, только изобретай, только работай. Много делалось хорошего, много и плохого» [Шапорина 2012: 71].

Возможно, именно потому, что жизнь Шапориной была наполнена, и ее творческий потенциал был реализован, она в эти годы перестает вести *Дневник*. Сделана только одна запись в 1927 году, когда Любовь Васильевна с детьми живет в Париже и пять записей в 1929 году после возвращения (в 1928 г) в Россию.

В этих неретроспективных записях взгляд на атмосферу жизни в стране несколько иной, чем в мемуарном отрывке. Главное, что фиксирует не мемуаристка, а дайаристка Шапорина, говоря о ситуации 20-х годов, — это деконструкция культуры: «Меня ужас, жуть берет при мысли о России. Одиавшая, грубая жизнь, грубый язык, все какое-то чуждое мне» [Шапорина 2012: 74]. Советский Союз кажется ей, вернувшейся из Европы, дикой, обезкультуренной страной. В январе 1929 года она записывает, что после Петра I в России возник поверхностный и утонченный слой культуры над спящим болотом, как на пузыре, а сейчас «пузырь лопнул, прорвался. И теперь, пожалуй, жизнь не войдет в норму до тех пор, пока вся масса не взболтается, не окультурится, не выделит из себя оформившийся класс с ощущением отечества, которого у них пока нет» [Шапорина 2012: 77].

Таким образом, мы видим, что описание ситуации первых послереволюционных лет у Шапориной, как и надо было предполагать, очень противоречиво

и колеблется между приятием и отталкиванием. Это и годы надежд, подъема, таких возможностей самореализации, которые больше никогда Шапориной в ее долгой жизни не выпадут и лейтмотивом ее более поздних дневниковых записей станет страдание от собственной профессиональной невостребованности, от ощущения себя неудачницей. Но одновременно первые послереволюционные годы — это время хаоса, одичания и обезкультуривания.

Дневник показывает, что, чем интенсивнее обстоятельства — личные и общественные — выталкивают Шапорино из театра, из осмысленной, публично востребованной и признанной профессиональной деятельности, тем более ясно она формулирует для себя представление о миссии культурного русского человека и своей собственной в советской действительности. Эта миссия, по Шапориной, состоит в том, чтобы воскресить культурным трудом великую Россию как целостный Русский мир, где сословная иерархия заменится культурной. Свою переводческую работу, ведение дневника и духовный труд, молитву она будет рассматривать как способы реализации этой миссии.

Заключение. Сравнение трех автодокументальных текстов показывает, что каждый из авторов по-своему пытается преодолеть возникшее после революции острое противоречие «между необходимостью и идеалом, между идеалами и интересами, между прагматикой поведения и нравственными предпочтениями» [Гинзбург 1999: 419].

Позицию К. Чуковского можно, вероятно, назвать более конформистской, но неконформизм Л. Гинзбург и Л. Шапориной тоже не абсолютен и проблематичен, как хорошо показал в случае Л. Гинзбург в своей книге Станислав Савицкий.

Но все три автотекста фиксируют позицию очевидного дистанцирования от оформляющихся к концу 20-х годов моделей «правильного» советского писателя, литератора. Невозможность для авторов реализовать свои идеальные представления о сущности литературного труда и миссии литератора-интеллекта приводит их к острому ощущению собственной неудачливости, нереализованности или, в случае Чуковского, недореализованности в публичной сфере. Ведение дневника / записной книжки становится и практикой в-писывания в новое историческое время, и фиксацией неудачи. Но парадоксальным образом именно эти тексты оказываются, в конце концов, публично востребованными и начинают восприниматься читателями и исследователями как ценнейшие литературные памятники, то есть как свидетельство реализации той литературной миссии, неудачу которой они фиксируют.

ЛИТЕРАТУРА

Гинзбург Л. Записные книжки. — Москва: Изд-во «Захаров», 1999.

Зорин А. Гинзбург и гуманитарная мысль XX века // Новое литературное обозрение. — 2005. — № 76. — С. 45–68.

Каверин В. Дневник К. Чуковского // Чуковский К. Дневник 1901–1929 / подготовка текста и комментарии Е. Ц. Чуковской. — Москва: Советский писатель, 1991. — С. 3–8.

Козлова Н. Советские люди. Сцены из истории. — Москва: Европа, 2005.

Mikheev M. Дневник как эго-текст (Россия, XIX–XX). — М.: Водолей Publishers, 2007.

Савкина И. Разговоры с зеркалом и Зазеркальем: Автодокументальные женские тексты в русской литературе первой половины XIX века. — Москва.: Новое литературное обозрение, 2007.

Савицкий С. Частный человек. Л. Я. Гинзбург в конце 1920-х — начале 1930-х годов. — Санкт-Петербург: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013.

Чуковский К. Дневник 1901–1929 / подготовка текста и комментарии Е. Ц. Чуковской. — Москва: Советский писатель, 1991.

Шапорина Л. Дневник. — Москва: Новое литературное обозрение, 2012. — Т. 1.

Hellbeck J. Revolution on my Mind: Writing Diary under Stalin. — Cambridge and al.: Harvard University Press, 2009.

Nussbaum F. Towards Conceptualizing Diary // Studies in Autobiography / Ed. by J. Olney. — New York, Oxford: Oxford University Press, 1988. — P. 128–140.

Paperno I. Stories of the Soviet Experience. Memoirs, Diaries, Dreams. — Ithaca, London: Cornell University Press, 2009.

Smith S. & Watson Ju. Reading Autobiography. A Guide for Interpreting Life Narratives. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001.

REFERENCES

Ginzburg L. Zapisnye knizhki. — Moskva: Izd-vo «Zakharov», 1999.

Zorin A. Ginzburg i gumanitarnaya mysl' XKh veka // Noye literaturnoye obozreniye. — 2005. — № 76. — S. 45–68.

Kaverin V. Dnevnik K. Chukovskogo // Chukovskiy K. Dnevnik 1901–1929 / podgotovka teksta i kommentarii

E. Ts. Chukovskoy. — Moskva: Sovetskiy pisatel', 1991. — S. 3–8.

Kozlova N. Sovetskie lyudi. Stseny iz istorii. — Moskva: Evropa, 2005.

Mikheev M. Dnevnik kak ego-tekst (Rossiya, XIX–XX). — M.: Vodoley Publishers, 2007.

Savkina I. Razgovory s zerkalom i Zazerkal'em: Avtodokumental'nye zhenskyye teksty v russkoy literature pervoy poloviny XIX veka. — Moskva.: Novoye literaturnoye obozreniye, 2007.

Savitskiy S. Chastnyy chelovek. L. Ya. Ginzburg v kontse 1920-kh — nachale 1930-kh godov. — Sankt-Peterburg: Izd-vo Evropeyskogo universiteta v Sankt-Peterburg, 2013.

Chukovskiy K. Dnevnik 1901–1929 / podgotovka teksta i kommentarii E. Ts. Chukovskoy. — Moskva: Sovetskiy pisatel', 1991.

Shaporina L. Dnevnik. — Moskva: Novoye literaturnoye obozreniye, 2012. — T. 1.

Hellbeck J. Revolution on my Mind: Writing Diary under Stalin. — Cambridge and al.: Harvard University Press, 2009.

Nussbaum F. Towards Conceptualizing Diary // Studies in Autobiography / Ed. by J. Olney. — New York, Oxford: Oxford University Press, 1988. — P. 128–140.

Paperno I. Stories of the Soviet Experience. Memoirs, Diaries, Dreams. — Ithaca, London: Cornell University Press, 2009.

Smith S. & Watson Ju. Reading Autobiography. A Guide for Interpreting Life Narratives. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001.

Информация об авторе

Ирина Леонардовна Савкина — доктор философии (Ph. D.), кандидат филологических наук, доцент, Университет г. Тампере, Финляндия (Тампере, Финляндия).

Адрес: Kanslerinrinne 1, FIN-33014 Tampereen yliopisto, Finland.

E-mail: irina.savkina@staff.uta.fi.

About the author

Irina Leonardovna Savkina — Ph. D., Candidate of Philology, Associate Professor, University of Tampere (Tampere, Finland).